

## 1.9. О РУССКОМ ЯЗЫКЕ<sup>1</sup>

Становление Дмитрия Сергеевича как ученого происходило в эпоху, когда вопросы языкознания перестали быть прерогативой узкого круга академических специалистов и, выйдя за пределы университетских аудиторий, весьма громко зазвучали в религии, философии, общественно-политической жизни. В этом историческом контексте формировались **взгляды Лихачева на природу языка в целом и на русский язык в частности**. С юных лет и до конца жизни он пронес стойкое убеждение в том, что «каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом»<sup>2</sup>, «ибо слово стоит в начале культуры и завершает ее, выражает ее»<sup>3</sup>.

«Существует представление о том, что науки, развиваясь, дифференцируются, — писал Д. С. Лихачев. — Кажется поэтому, что разделение филологии на ряд наук, из которых главнейшие — лингвистика и литературоведение, — дело неизбежное и, в сущности, хорошее. Это глубокое заблуждение. Количество наук действительно возрастает, но появление новых идет не только за счет их дифференциации и “специализации”, но и за счет возникновения связующих дисциплин. Сливаются физика и химия, образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и несоседними науками вступает в связь математика, происходит “математизация” многих наук. И замечательно: продвижение наших знаний о мире происходит именно в промежутках между “традиционными” науками. Роль филологии именно связующая, а поэтому и особенно важная. Она связывает историческое источниковедение с языкознанием и литературоведением. Она придает широкий аспект изучению истории текста. Она соединяет литературоведение и языкознание в области изучения стиля произведения — наиболее сложной области литературоведения. По своей сути филология антиформалистична, ибо учит правильно понимать смысл текста, будь то исторический источник или художественный памятник. Она требует глубоких знаний не только по истории языков, но и знаний реалий той или иной эпохи, эстетических представлений своего времени, истории идей и т. п.»<sup>4</sup>.

Попытаемся хотя бы бегло очертить те «реалии эпохи, эстетические представления, историю идей», которые и определили «любословие» самого Лихачева.

В начале 1910-х годов в православном богословии весьма громко заявили о себе «филологические» аспекты. На Афоне, в традиционной «цитадели» греко-российского православия, строго хранившей чистоту ортодоксальных взглядов на христианское вероучение, распространилось учение монаха Илариона, который считал, что «Имя Бога и имя Иисус есть Сам Бог». Синод признал это учение ересью, и в 1913 году движение «имябожцев» было подавлено, однако в русской культуре, и прежде всего в русской модернистской литературе этого времени, оно вызвало значительный интерес. Дело в том, что главным аспектом данной богословской полемики был **вопрос о природе и возможностях слова**, прямо перекликавшийся с многочисленными заявлениями русских символистов о магической природе слова, о возможностях вербальной энергии, действия словом.

Иларион и «имябожцы» также полагали, что само слово «Иисус» содержит в своих материальных филологических характеристиках некую «идеальную энергию», делающую это слово орудием (или оружием) для того, кто его произносит. Их взгляды восходили к старым классическим православным богословским проблематикам, содержавшимся как в полемике вокруг так называемого «иконаборства», так и в полемике вокруг исихазма

<sup>1</sup> В разделе, связанном с теорией концептосферы, использованы отдельные материалы из кандидатской диссертации «Изучение русской повседневной картины мира в лингвокультурологическом аспекте» М. А. Евдокимычевой, преподавателя СПбГУП, выполняющей исследования в аспирантуре под руководством профессора Ю. В. Зобнина.

<sup>2</sup> Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. М.: Дет. лит., 1988. С. 231.

<sup>3</sup> Там же. С. 233.

<sup>4</sup> Там же. С. 227.

(последняя, как известно, дала мировой культуре величайшего православного богослова и философа Григория Паламу, учившего об «энергетическом» присутствии и действии Бога в мире). Д. С. Лихачев живо интересовался исихазмом. О своей беседе с академиком на эту тему вспоминал, например, Робин Милнер-Гулланд<sup>5</sup>.

Впрочем, не вдаваясь в тонкости истории русского богословия начала XX века, отметим только, что на светском, культурном уровне, она с новой силой инициировала начатый еще в 1890-е годы первыми русскими символистами разговор о могуществе писателя (шире — о могуществе «человека говорящего»), сознательно владеющего тайной слов<sup>6</sup>. О силе слова в 1910–1920-е годы заговорили наследники символистов — акмеисты и футуристы, равно оглядывающиеся на «ересь имябожцев» в своих спорах о природе слова как такового. Самым знаменитым отголоском «имябожества» в русском искусстве XX века стали стихи О. Э. Мандельштама, написанные в 1915 году и затем вошедшие во второе издание его «Камня» (1916).

И поныне на Афоне  
Древо чудное растет,  
На крутом зеленом склоне  
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье  
Имябожцы — мужики:  
Слово — чистое веселье,  
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно  
Чернецы осуждены;  
Но от ереси прекрасной  
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,  
Мы в нее впадаем вновь.  
Безымянную мы губим  
Вместе с именем любовь.

В последнем четверостишии содержится указание на ту потенциально содержащуюся в «имябожии» тенденцию, которая могла превратить (и превратила) эту богословскую проблематику в проблематику философскую и даже филологическую, хотя и не лишенную идеалистической основы.

«Имябожие» после его отрицательной оценки в качестве «ереси» трансформировалось в истории русской религиозно-философской мысли XX века в «имячеловечье», то есть в знаменитое «имяславие», в числе апологетов которого были П. Флоренский, Вяч. Иванов, Н. Бердяев и, конечно, прежде всего А. Лосев с его «Философией имени»<sup>7</sup>, генетически связанной с «имяславскими» спорами начала века. Для Лосева имя было особым местом встречи «смысла» человеческой мысли и имманентного «смысла» предметного бытия. Имя в своем законченном выражении понималось как идея, улавливающая и очерчивающая эйдос — существо предмета. Наибольшую полноту и глубину имя обретает, когда охватывает и сокровенный смысл бытия. Философия имени, по Лосеву,

<sup>5</sup> *Milner-Gulland R. Dmitrii Sergeevich Likhachev (1906–1999) // Slavonica. Sheffield. 1999/2000. Vol. 6. № 1. P. 142.*

<sup>6</sup> Подробнее как о богословском, так и о светском содержании «истории с имябожцами» в применении к русской истории первой половины XX века см.: *Эткинд А. «И поныне на Афоне» // Эткинд А. Хлыст: секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 261–263.*

<sup>7</sup> См.: *Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль; Российский открытый ун-т, 1993. С. 613–801.*

совпадала с диалектикой самопознания бытия и философией вообще, так как «имя», понятое онтологически, являлось вершиной бытия, которая достигалась в его имманентном самораскрытии»<sup>8</sup>.

Выступая в последние годы жизни по проблеме сохранения стилистически «высокого» русского языка, Д. С. Лихачев утверждал именно «имяславское» понимание слова как первичного начала в бытии. Для него существование слова было тесно связано с существованием относимого к слову феномена, причем второй оказывался подчиненным первому. Сказать что-либо означает «сделать», «вызвать к жизни» то, о чем говорится. И, наоборот, сказать «неправильно» или вовсе «промолчать» — в лихачевском мировосприятии — оказать разрушительное воздействие на окружающую нас реальность.

Крайне любопытно в связи с этим интервью, данное Лихачевым в 1996 году: трагические несообразности тогдашнего российского быта академик отчасти объяснял деформацией лексики русского языка в «новорусскую эпоху». «Слова исчезли вместе с явлениями, — заявлял ученый. — Часто ли мы слышим “милосердие”, “доброжелательность”? Этого нет в жизни, поэтому нет и в языке. Или вот “порядочность”. Николай Калинин Гудзий меня всегда поражал — о ком бы я ни заговорил, он спрашивал: “А он порядочный человек?” Это означало, что человек не доносчик, не украдет из статьи своего товарища, не выступит с его разоблачением, не зачитает книгу, не обидит женщину, не нарушит слова. А “любезность”? “Вы оказали мне любезность”. Это добрая услуга, не оскорбляющая своим покровительством лицо, которому она оказывается. “Любезный человек”. Целый ряд слов исчезли с понятиями. Скажем, “воспитанный человек”. Он воспитанный человек. Это, прежде всего, раньше говорилось о человеке, которого хотели похвалить. Понятие воспитанности сейчас отсутствует, его даже не поймут. <...> Общая деградация нас как нации сказалась на языке прежде всего. Без умения обратиться друг к другу мы теряем себя как народ. Как жить без умения назвать? Недаром в Книге Бытия Бог, создав животных, привел их к Адаму, чтобы тот дал им имена. Без этих имен человек бы не отличил коровы от козы. Когда Адам дал им имена, он их заметил. Вообще заметить какое-нибудь явление — это дать ему имя, создать термин, поэтому в средние века наука занималась главным образом названием, созданием терминологии. Это был целый такой период — схоластический. Называние уже было познанием. Когда открывали остров, ему давали название, и только тогда это было географическим открытием. Без называния открытия не было»<sup>9</sup>.

Как уже говорилось, «филологический аспект» в первой половине XX века громко заявил о себе не только в сфере религиозно-философской мысли, но и в политике. В Советском Союзе экспансия коммунистического интернационализма породила борьбу с традиционалистскими основами русского национального бытия. Принципиально важным моментом этой борьбы для новой власти было искоренение целого стилистического пласта русского языка, связанного с церковнославянским языком. Атака началась с отмены в 1918 году так называемой «старой орфографии» и продолжалась вплоть до последних десятилетий существования коммунистического режима, стремившегося искоренить в русском лексиконе все «поповские слова» — от «милосердия» до «благонадежности». Борьба за «несоветское слово» стала важной формой духовного сопротивления русских писателей XX века:

Мне не надо пропуска ночного —  
Часовых я не боюсь:  
За блаженное бессмысленное слово  
Я в ночи советской помолюсь.  
(Мандельштам)

<sup>8</sup> Сто русских философов: биограф. словарь / Ин-т философии РАН. М.: Мирта, 1995. С. 145.

<sup>9</sup> Лихачев Д. С. «Я живу с ощущением расставания...» // Комсомольская правда. 1996. 5 марта. С. 5.

Параллельно с «зачисткой» светской речи советских людей, в 1920–1930-е годы шла борьба и в сугубо духовной сфере, связанная с искусственным внедрением с подачи Антирелигиозной комиссии ЦК ВКП(б) совместно с Секретным отделом ГПУ в православную церковную среду «обновленцев» — священников (многие из которых были секретными агентами чекистов), требовавших перевода церковного богослужения с церковнославянского языка на русский<sup>10</sup>.

В этом контексте принципиально важной представляется точка зрения на **роль церковнославянского языка в русской культуре**, полнее всего высказанная Д. С. Лихачевым (как известно, прихожанином храма Святого равноапостольного кн. Владимира) в статье «Русский язык в богослужении и богословской мысли», к сожалению, сейчас малоизвестной, где ученый создает вдохновенный гимн церковнославянскому языку как современному, действующему языку русской нации: «Не впервые поднимается вопрос о переводе богослужебных текстов на обыденный русский язык, — пишет Лихачев, отвечая на популярные в 1990-е годы призывы «модернизировать» русское православие. — Основанием к тому в глазах сторонников такого перевода является необходимость сделать богослужение более понятным. Такие попытки были особенно часты сразу после революции, в пору усилий государства подчинить себе Церковь, что привело к появлению разного рода обновленческих “красных” и прочих церковных объединений. Народ тогда не принял богослужения на русском языке. Обновленческие церкви стояли пустыми... “Непонятность” богослужения заключается не только в языке. По-настоящему непонятно богослужение для тех, кто не знает основ православного учения. Именно с учением Церкви должен познакомиться человек, желающий посещать церковь, а “непонятность” языка — дело второстепенное. Преодоление препятствия со стороны постижения языка — несложно (это не латинский язык в католическом богослужении). “Непонятность” богослужения лишь усилится, если языком его станет разговорный (обыденный, обывательский) язык, не имеющий всех богословских нюансов в своем словаре, лишенный традиционных фразеологизмов. И это тогда, когда существует близкий язык, но обладающий тысячелетним опытом молитвенного, богослужебного, богословского употребления. “Господи, помилуй” и “Господи, прости” — различны по своему значению. Итак, первое мое возражение против перевода богослужения на русский язык состоит в том, что при таком переводе и богослужение, и богословская мысль не станут сколько-нибудь более понятными, а существующая традиция прервется. Для обывателя же “непонятность” богослужения во многом обострится. Некто утверждает: “Вот я зашел в церковь и плохо понял, о чем там пелось и говорилось”. Но когда человек старается понять смысл службы, он, может быть впервые, совершает духовную работу. Откуда же требование, чтобы Церковь шла на уступки обывателю? Не Церковь должна кланяться обывателю, а обыватель — Церкви»<sup>11</sup>.

В России (и отчасти в других славянских странах) церковнославянский язык объединял культуру не только по горизонтали, но и по вертикали: культуру Древней Руси и культуру Нового времени, делая понятными высокие духовные ценности, которыми жива была Русь первых семи веков своего существования. Это способствовало сохранению самосознания русских, живших на территории других государств, и теперь объединяет Русскую зарубежную церковь с Родиной. «Если мы откажемся от языка, который великолепно знали и вводили в свои сочинения Ломоносов, Державин, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Лесков, Толстой, Бунин и многие-многие другие, утраты в нашем понимании русской культуры начала веков будут невосполнимы. Церковнославянский язык — постоянный источник для понимания русского языка, сохранения его словарного запаса, обостренного постижения эмоционального звучания русского слова. Это язык благородной культуры: в нем нет грязных слов, на нем нельзя

<sup>10</sup> См.: Обновленчество // Православие в России / Министерство культуры РФ, РАН, Рос. НИИ культурного и природного наследия. М., 1995. С. 112–115.

<sup>11</sup> Лихачев Д. С. Русский язык в богослужении и в богословской мысли // Русское возрождение. 1997. № 69–70. С. 41.

говорить в грубом тоне, браниться. Это язык, который предполагает определенный уровень нравственной культуры. Церковнославянский язык, таким образом, имеет значение не только для понимания русской духовной культуры, но и большое образовательное и воспитательное значение. Отказ от употребления его в Церкви, изучения в школе приведет к дальнейшему падению культуры в России. Русский язык “очищается”, облагораживается в Церкви. Да, Евангелие должно проповедоваться на всех языках. В изданиях, где оно печатается параллельно на церковнославянском и русском языках, уточняется смысл отдельных выражений, разъясняется значение каждого слова. Русский язык никто не изгоняет из Церкви, но обращенные к Богу, Божией Матери, к святым слова должны быть свободны от обыденщины, не соприкасаемы с бранью и вульгарщиной. Убежден, что необходимо сохранить верность тому сочетанию двух близких друг другу языков, которые исторически постоянно соприкасались в летописях, в посланиях Церкви и патриархов, в обращениях к народу патриархов и других иерархов Церкви, в проповедях (число которых в Церкви должно постоянно расти)», — утверждает Дмитрий Сергеевич<sup>12</sup>.

Академик считает: у церковнославянского стилистического слоя в современном русском языке есть «антидвойник», претендующий на замещение в современной русской речи церковнославянизмов. Это — **матерная лексика**, которой, по мнению Д. С. Лихачева, пользуются в качестве «опознавательного» стилистического средства люди, отвергающие базовые культурные ценности России. Рассказывая о времени своего заключения в Соловецких лагерях, Лихачев, упоминая о мате в языке заключенных, делится поразительными наблюдениями: «Я просто не мог материться. Если бы я даже решил про себя, ничего бы не вышло. На Соловках я встретил коллекционера Николая Николаевича Виноградова. Он попал по уголовному делу на Соловки и вскоре стал своим человеком у начальства. И все потому, что он ругался матом. За это многое прощалось. Расстреливали чаще всего тех, кто не ругался. Они были “чужие”. <...> Я тоже оказался чужим. Чем я им не угодил? Тем, очевидно, что ходил в студенческой фуражке. Я ее носил для того, чтоб не били палками. Около дверей, особенно в тринадцатую роту, всегда стояли с палками молодчики. Толпа валила в обе стороны, лестницы не хватало, в храмах (как известно, страшные Соловецкие лагеря размещались в храмах и других помещениях бывшего монастырского комплекса. — *Примеч. авт.*) трехэтажные нары были, и поэтому, чтобы быстрее шли, заключенных гнали палками. И вот, чтобы меня не били, чтобы отличиться от шпаны, я надевал студенческую фуражку. И, действительно, меня ни разу не ударили. Только однажды, когда эшелон с нашим этапом пришел в Кемь. Я стоял уже внизу, у вагона, а сверху охранник гнал всех и тогда ударил сапогом в лицо... Ломали волю, делили на “своих” и “чужих”. Вот тогда и мат пускался в ход. Когда человек матерился — этой своей. Если он не матерился, от него можно было ожидать, что он будет сопротивляться. Поэтому Виноградову и удалось стать своим — он матерился, и когда его освободили, стал директором музея на Соловках. Он жил в двух измерениях: первое определялось внутренней потребностью делать добро, и он спасал интеллигентов и меня спасал от общих работ. Другое определялось потребностью приспособиться выжить. Во главе Ленинградской писательской организации одно время был Прокофьев. В обкоме он считался своим, хотя всю жизнь был сын городского, он умел ругаться и оттого умел как-то находить общий язык с начальством. А интеллигентов, даже искренне верящих в социализм, отвергали с ходу — слишком интеллигенты, а потому не свои»<sup>13</sup>.

Говоря об отношении Лихачева к языку, нельзя обойти в его творческом наследии и собственно **лингвистические научные работы**. Наука о языке и наука о литературе — две сферы «любословия» — оказываются труднорасторжимыми в гуманитарном мышлении. Разумеется, лингвистическая проблематика присутствовала в «исследовательском поле» Лихачева менее активно, нежели проблематика

<sup>12</sup> Там же. С. 43–44.

<sup>13</sup> Лихачев Д. С. «Я живу с ощущением расставания...»

литературоведческая, но тем не менее весьма яркие научные результаты были получены им и здесь. Особо следует выделить его **учение о концептах**, сформировавшееся в результате многолетнего интереса к феномену слова.

Статья Д. С. Лихачева «Концептосфера русского языка» написана в 1991 году в продолжение начатых еще в 1920-е годы С. А. Аскольдовым-Алексеевым размышлений о природе «общих понятий» или «концептов». Что побудило этого крупного ученого обратиться к соотношению слова и концепта, почему термин, столь недоверчиво вначале принятый научной общественностью, вызвавший множество споров, все же вошел в научный обиход и прочно в нем утвердился?

Сергей Алексеевич Алексеев (Аскольдов — псевдоним) — один из ярчайших философов первой половины XX века, занимавшийся проблемами теории познания и этики. Именно его статья 1928 года «Концепт и слово»<sup>14</sup> положила начало концептуально-культурологическому направлению в современной гуманитарной науке и побудила таких известных ученых, как Д. С. Лихачев, В. П. Нерознак, Ю. С. Степанов заниматься дальнейшими научными изысканиями в этой области. С. А. Аскольдов-Алексеев исходил из того, что в философии, логике и лингвистике важнейшую роль играет так называемый «наблюдающий субъект», благодаря которому любая система становится динамичной, или, иначе говоря, в нее входят движение, развитие, изменение. С. А. Аскольдов также рассматривал концепт как потенциальную динамическую структуру, зависящую от взгляда наблюдателя, и определял его следующим образом: «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода»<sup>15</sup>. Кроме того, концепты предлагалось делить на «познавательные» и «художественные». И если познавательные концепты, по мысли автора, приближаются к понятию, то художественные вызывают множество ассоциаций, которые нередко возникают благодаря связи звучания и значения, что особенно важно, например, для поэзии. В качестве примера С. А. Аскольдов ссылается на «Песнь о Вещем Олеге» А. С. Пушкина: «Концепт “вещий” Олег художественно ценен именно потому, что он гораздо богаче ассоциативными возможностями, чем прозаический концепт «знающий». Именно он рисует нам Олега в каком-то неопределенном ореоле разнообразных потенций “видения”, органически сопряженных с его боевым обликом. Пусть эти ассоциации четко не осуществлены, но достаточно, что намечено их направление»<sup>16</sup>.

Приведем еще один пример. Для характеристики индивидуального стиля любого писателя особенно важными являются ключевые слова, соотносящиеся со значимыми для автора фрагментами картины мира, отраженными в его творчестве. Текстовые смыслы выявляются читателем на основе текстовых ассоциативных связей, которые можно определить как актуализированную в сознании читателя связь между элементами языковой структуры текста и соотнесенными с ними явлениями действительности или сознания<sup>17</sup>. Очень важно отметить, что именно ассоциативные связи текстового слова организуют восприятие, интерпретацию и понимание текста. Ассоциативные связи текстового слова концептуально заданы и подчинены выражению определенного авторского смысла. Название художественного текста является определенным смысловым маркером, порождающим культурные смыслы в восприятии читателя еще до знакомства с самим текстом. Культурные смыслы, заложенные в названии, могут играть определенную роль в истолковании художественного текста, а отраженные в ней культурные

<sup>14</sup> Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология / под общ. ред. В. П. Нерознака. М.: Academia, 1997. С. 267–279.

<sup>15</sup> Цит. по: Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре / СПбГУП. СПб., 2006. С. 318.

<sup>16</sup> Аскольдов С. А. Указ. соч. С. 273.

<sup>17</sup> Болотнова Н. С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте. Томск, 1994. С. 273.

представления могут стать своеобразной «точкой опоры» для раскрытия общего смысла произведения.

Проиллюстрируем это утверждение на примере названия знаменитой повести М. А. Булгакова «Собачье сердце», где актуализируются два взаимоисключающих компонента: 1. Преданность, верность (сравним: «собачьи глаза», «собачья преданность»); 2. «Нечистота» данного животного (это смысловое наполнение словосочетания «собачье сердце» берет начало в древней славянской культуре, где собака считалась «нечистым» животным). Кроме того, доктор Борменталь, ассистент профессора Преображенского, назовет Шарикова «человеком с собачьим сердцем», выказав тем самым крайне негативное отношение к этому существу, получившемуся в результате неудачного опыта. Что интересно, этой фразой Борменталь искажает реальное положение вещей, так как фактически Шариков — собака с человеческим сердцем. Однако именно эта характеристика — «человек с собачьим сердцем» (по сути, с собачьей душой, поскольку слово «сердце» здесь употреблено отнюдь не в значении «орган кровеносной системы») — позволила автору произведения подчеркнуть тяготение данного существа к отрицательному оценочному полюсу, тогда как противоположная (логически и фактически правильная) фраза привела бы к совершенно иному результату («собака с человеческим сердцем» — положительная эмоциональная характеристика поведения животного).

Обратимся теперь к размышлениям Д. С. Лихачева, продолжающим теоретические изыскания С. А. Аскольдова. Академик Лихачев обращается к важной функции концепта, которую обозначил С. А. Аскольдов, — **функции заместительства**. Данная характеристика предполагает, что в любом общем понятии (концепте) заложен некий потенциал значения, и человек, оперируя понятием, обращается, чаще всего не вполне осознанно, именно к этому потенциалу. Нельзя не согласиться с мыслью Дмитрия Сергеевича о том, что **концепт существует не для самого слова, а для каждого его словарного значения**, как бы много их ни было. Кроме того, Лихачев предлагает считать концепт своего рода «алгебраическим» выражением значения, которым человек оперирует в речи, поскольку охватить значение во всей его сложности и полноте человек просто не может. Кроме того, заместительная функция концепта облегчает языковое общение в том смысле, что позволяет преодолевать различия в понимании слов говорящими. Однако нельзя забывать о том, что так называемые «мелочи» в толковании слов могут быть очень важны, например, в поэзии.

Размышляя о природе концепта, Д. С. Лихачев пишет о том, что концепты существуют не сами по себе, а в определенной человеческой «идеосфере»<sup>18</sup>, потому что у каждого человека есть индивидуальный культурный опыт. Именно этот опыт определяет богатство или бедность самой природы концептов каждого конкретного человека и помогает, в большей или в меньшей степени, удачно ориентироваться в пространстве культуры.

Идя значительно дальше С. А. Аскольдова, Дмитрий Сергеевич высказывает чрезвычайно важное соображение: «Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека»<sup>19</sup>.

Данной мыслью ученый подводит нас к важной и, скорее всего, до конца не разрешимой проблеме преодоления межъязыкового и межкультурного барьера. Если бы все сложности при общении людей разных национальностей и культур сводились к тому, что за короткое время сложно овладеть обширным словарным запасом, то эта проблема уже была бы решена в рамках методики обучения иностранным языкам. Однако сложность не только в этом. Следуя за развитием мысли Лихачева, можно предположить, что трудности в общении разноязычных людей начинаются именно тогда, когда, пройдя

<sup>18</sup> Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. С. 319.

<sup>19</sup> Там же.

этап стандартного ситуативного общения («знакомство», «погода», «семья» и т. д.), они неизбежно будут пытаться воспользоваться в процессе беседы своим индивидуальным культурным опытом. Попытки будут результативными далеко не всегда, а следствием может стать неудачное, поверхностное, не приносящее удовлетворения общение. Дело в том — и эта мысль четко прослеживается в статье «Концептосфера русского языка», — что **адекватное восприятие содержания концепта возможно лишь при достаточной близости национальных, сословных, классовых, профессиональных, семейных, в широком смысле, культурных опытов людей.** Если этой близости нет, то «послания» одного будут расшифрованы другим только на уровне словарных значений слов. А заложенная в словах информация в большинстве случаев ими не исчерпывается.

Еще сложнее, а иногда — комичнее, складывается ситуация с тем, что принято, в широком смысле, называть фразеологией русского (да и любого другого) языка. Итоговый, конечный смысл любого фразеологизма в принципе несводим к словарным значениям составляющих его компонентов. Более того, многие исторически сложившиеся фразеологизмы русского языка для современного человека вообще нерасчленимы или же значения некоторых их компонентов просто утеряны. Дмитрий Сергеевич пишет о том, что на базе фразеологизмов также возникают концепты, причем их содержание прежде всего заключается именно в подразумеваемом «культурном потенциале». «Нет смысла приводить примеры концептов, возникающих на основе фразеологизмов из “Горя от ума” Грибоедова, басен Крылова, пословиц, поговорок, песен и т. д. В концептосферу входят даже названия произведений, которые через свои значения порождают концепты. Так, например, когда мы говорим “Обломов”, мы можем, грубо говоря, разуть три значения этого слова: либо название известного произведения Гончарова, либо героя этого произведения, либо определенный тип человека. И вот в зависимости от того, читали ли вы Гончарова насколько глубоко, и по-своему поняли его, и сблизили со своим культурным опытом, все три концепта будут в пределах контекста различаться по смыслу и “потенциам”. Тем не менее для всякого человека слово “Обломов” говорит чрезвычайно много. В потенции в нашем сознании со словом “Обломов” возникает целый мир столичной и деревенской жизни, мир русского характера, сословных и возрастных особенностей и т. д.»<sup>20</sup>.

**Концептосфера в понимании академика — это совокупность потенциалов, открываемых в словарном запасе как отдельного человека, так и всего языка в целом.** «Между концептами существует связь, определяемая уровнем культуры человека, его принадлежностью к определенному сообществу людей, его индивидуальностью»<sup>21</sup>. Иначе говоря, культуру можно представить как совокупность концептов, причем в картине мира каждого человека соседствуют и даже вступают в определенное взаимодействие несколько концептосфер: национально-культурно-языковая, профессиональная, семейная, индивидуальная и др. Важно, что в мировоззрении любого конкретного человека на уникальность и неповторимость претендует именно индивидуальная концептосфера, хотя она неизбежно связана с общей национально-культурно-языковой концептосферой. И здесь назревает весьма непростой вопрос о сути словесного творчества и явственно обозначается проблема адекватного понимания и интерпретации художественного произведения. Д. С. Лихачев приводит в качестве примера возможную интерпретацию стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» через рассмотрение центрального для этого произведения концепта «перепутье». Нельзя не согласиться с мыслью Дмитрия Сергеевича о том, что если читатель ограничится обращением только к словарному значению слова «перепутье», то смысл зашифрованного в художественной форме послания автора останется для читателя абсолютно неясным. То есть именно оперирование концептами и проникновение в индивидуально-авторскую концептосферу позволяет читателю и исследователю проникнуть в смысл текста,

---

<sup>20</sup> Там же. С. 323.

<sup>21</sup> Там же. С. 321.



существующий только как потенциал и могущий быть превращенным в действительный смысл.

Дополнительной трудностью в поиске смысла текста является еще и то, что **художественный текст обычно многозначен, иначе говоря, в нем заложена совокупность смыслов**. Так, согласно идее филолога и философа М. М. Бахтина, Ф. М. Достоевский является создателем «полифонического романа». Помимо полифонии — некоего «мерцания смыслов», по Ю. М. Лотману, — в тексте можно наблюдать постепенное наращивание смысла, усиливающее его суммарное воздействие. Это можно назвать своеобразным углублением и расширением концептосферы художественного произведения, но — вопрос: до каких пределов это возможно?

По-видимому, пределов как таковых нет — не вследствие сверхгениальности автора и бесталанности читателя или, наоборот, в сверхталантливости последнего. Возможно, концептосферы и конкретно взятого художественного текста, и его автора, и читателя состоят из множества отдельных концептов, каждый из которых есть не только «изреченное» нечто, нашедшее конкретное словесное воплощение на национальном языке, но и «подразумеваемое» — потенциально заложенное, но не вполне осмысленное, возможно, даже самим автором, для чего и слова-то просто может не быть найдено. Это «подразумеваемое» и можно назвать культурным смыслом, культурным опытом, без которого создание произведений литературы, да и любого другого искусства, невозможно.

В свою очередь, концептосфера той или иной культуры, по убеждению академика Лихачева, также немислима вне влияния литературы и вообще словесного творчества: «Итак, богатство языка определяется не только богатством “словарного запаса” и грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, концептуальной сферы, носителями которой является язык человека и его нации. Концептуальная сфера, в которой живет любой национальный язык, постоянно обогащается, если есть достойная его литература и культурный опыт»<sup>22</sup>.

Термин «концептосфера», введенный Д. С. Лихачевым по типу терминов В. И. Вернадского «ноосфера», «биосфера», можно трактовать, следуя закону аналогии, как «пространство концептов» или же «область концептов». Понятие концептосферы, пишет Лихачев, особенно важно тем, что помогает понять, почему **язык является не только способом общения, но и неким «концентратом» культуры**. То, что термин «прижился» в научной среде, подтверждает и возникновение его «производных», например «персоносферы» Г. Хазагерова<sup>23</sup>.

Персоносфера — это сфера персоналий, образов, сфера литературных, исторических, фольклорных, религиозных персонажей, «и в этом смысле можно говорить не только о национальной персоносфере... Однако, поскольку значительная часть персонажей “говорящая”, интереснее всего именно национальная персоносфера, в которой инациональные и транснациональные персонажи (библейские, античные) воспринимаются сквозь призму национального языка»<sup>24</sup>. Как пишет Г. Г. Хазагерова, персоносфера имеет следующие свойства: во-первых, ее объектами являются лица, личности. Отсюда проистекает возможность сопоставления с ними, возможность сопереживания, подражания, в частности копирования речевых манер, возможность помещения себя в мир персоносферы, моделирования своего поведения в этом мире. Во-вторых, персоносфера обладает свойством метафоричности, которая состоит в способности более близкое схватывать через более далекое и поэтому более однозначное, несущее определенность. Важно отметить, что «национальное видение мира далеко не в последнюю очередь определяется характером персоносферы, но при этом именно

<sup>22</sup> Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. С. 328.

<sup>23</sup> Хазагерова Г. Персоносфера русской культуры // Новый мир. 2002. № 1.

<sup>24</sup> Там же. С. 133.

персонифера — самая изменчивая часть картины мира»<sup>25</sup>. Персонифера национально и культурно специфична, более того, она находится в определенной зависимости от исторической ситуации.

Если же вернуться к работе Д. С. Лихачева и к его определению природы концепта — «алгебраическое выражение» значения или, иначе, некий культурно-языковой потенциал, — то в этом случае **концептосфера становится областью потенциальных культурных смыслов**, без которой невозможно существование национального языка и, конечно же, художественного словесного творчества. Если язык нации является сам по себе сжатым «алгебраическим выражением» всей культуры нации, то художественное произведение есть гораздо более сложная структура. И эта структура содержит в себе многие промежуточные смыслы, рождающие общий конечный смысл.

Итак, можно с полной уверенностью согласиться с мыслью академика о том, что даже самый поверхностный **взгляд на концептосферу русского языка открывает богатство русской культуры**, созданной в разных сферах русского народа в различных соотношениях с другими национальными культурами через язык, искусство и пр. Позволим себе предположить, что богатство, глубина и уникальность концептосферы того или иного художественного произведения может быть одним из показателей гениальности его создателя.

---

<sup>25</sup> Там же. С. 135.